

РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

И.Н. ИОНОВ

**Проект “когнитивной истории”:
археология и экология идей
(Размышления над очередной публикацией
работ О. Медушевской)***

В статье анализируется проект когнитивной истории О. Медушевской и А. Медушевского, который трактуется его создателями как новая парадигма исторического знания. Критически рассматриваются предлагаемые ими периодизация исторических парадигм, соотношение идей А. Лаппо-Данилевского и феноменологии Э. Гуссерля, возможности феноменологической трактовки истории, соотношение когнитивной истории и смежных научных дисциплин.

Ключевые слова: когнитивная история, глобальная история, источниковедение, методология истории, эпистемология, феноменология, парадигма.

Книга, к которой я хочу привлечь внимание читателей журнала [Медушевская 2013], – часть серии изданий, представляющих проект “когнитивной истории”, которую ее создатели – известный историк и источниковед О. Медушевская (1922–2007) и ее племянник, талантливый историк А. Медушевский (автор предисловия) характеризуют как *новую парадигму исторического знания*, “сыгравшую по общему признанию фундаментальную роль в методологической переориентации всей постсоветской историографии”, ориентир для всех гуманитарных дисциплин [Медушевский 2013, с. 26, 28–29]. Авторы журнала уже обращались к содержанию книг, вышедших в этой серии, подробно пересказывали их содержание и дали им высокую оценку, в целом соглашаясь с заявленным научным статусом представленных в них идей [Миронов 2011]. Речь идет о попытке превращения исторической науки в нормативное, строгое, точное, доказательное, систематизирующее знание, основанное на традиции методологии истории А. Лаппо-Данилевского, воспринятой через феноменологическую перспективу, путем выявления в исторических источниках мотивов целесообразной деятельности человека прошлого и их реконструкции историком [Медушевская 2013, с. 405–406].

Это должно противопоставлять *строгую и точную* источниковедческую концепцию методологии истории – *нестрогой* и, как можно подумать в рамках этой логики, *неточной* концепции истории как “дисциплины контекста”, когда «главным предметом

* Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 13-06-00301а).

истории становится не событие прошлого, а память о нем, тот образ, который запечатлелся у переживших его участников и современников... подвергался проверке и фильтрации с помощью методов исторической критики. Речь идет о памяти, подлинность которой “заверена”, о памяти, “преобразованной в историю”», которая выступает как “постоянно обновляемая структура – идеальная реальность, которая является столь же подлинной и значимой, как реальность событийная” [Репина 2011, с. 414–415].

Новая книга содержит публикацию неизвестных и перепечатку известных и важных работ Медушевской 1948/1949–2007 гг. (в том числе опубликованных посмертно), впервые дает возможность ознакомиться с ее ранними трудами по истории русских географических открытий и представлений о Сибири XVII–XVIII вв. Но говорить мне сейчас хочется не об этом. Дело в том, что эта книга, как и предыдущие, рождена на поле битвы. Неослабевающая острота конфликта вокруг представленных в ней идей и людей создает уникальную познавательную ситуацию, которая ставит ее в центр понимания современного положения в историческом знании, но при этом, на мой взгляд, препятствует анализу содержащихся в ней идей. Каждый раз, когда обращаешься к изложенному в той или иной книге проекту “когнитивной истории”, оказывается, что вокруг его создателей и сторонников идет бой, так что остается либо хвалить авторов, полностью приняв их сторону, либо стать на сторону их противников, предоставив им аргументы для критики. Не случайно поэтому, что большинство рецензий на книги, в которых подается этот проект, написанных квалифицированными историками, оказывались комплиментарными, а постоянно возникающие в ходе их прочтения когнитивные диссонансы чаще всего разрешались читателями и толкователями на уровне *морального консонанса*, опорой которого служит авторитет авторов, а не сбалансированный научный анализ.

Особенно это характерно для дискуссий 2012 г., когда одновременно отмечалось 90-летие Медушевской и шла жестокая, невиданная с начала 1970-х гг. борьба вокруг журнала “Российская история”, возглавлявшегося Медушевским. Тогда единственное высказанное недоумение по поводу односторонности критики Медушевской неокантианства и бедности ее справочного аппарата, возникшее у М. Румянцевой, было быстро задавлено не относящимися к делу ссылками на Л. Выготского [Медушевский 2012; Румянцева 2013, с. 7; Минц 2013, с. 71–72]. Но сейчас, когда конфликт немного стих, в глаза бросается контраст между все новыми попытками осмысления сторонниками проекта связанных с ним сложностей [Румянцева 2014] и незыблемой уверенностью Медушевского в достоянности представленных доказательств. В этом, на мой взгляд, надо разобраться.

Что и говорить, проект “когнитивной истории” покоряет стремлением к деидеологизации знания, верой во всемогущество источниковедения, жадной преодолеть распавшуюся в советской историографии *связь времен*, верностью традициям исторического синтеза и сциентизма первого поколения школы “Анналов”, масштабностью и укорененностью в традиции русской культуры (в методологии истории А. Лаппо-Данилевского, теории ноосферы В. Вернадского, космизма Н. Федорова), верностью идеалу учеников Лаппо-Данилевского, боровшихся за сохранение и развитие его идей в труднейшие для советской историографии 1930–1950-е гг., и даже своей лихой радикальностью: непризнанием достижений современного исторического знания, приравниванием “реляционистского” или “соотносящего” знания к релятивистскому и даже идиографическому, претензиями на создание новой парадигмы исторического знания [Медушевский 2013 с. 9–10, 13, 16, 18–19, 25, 32–32; Медушевская 2013, с. 67–70, 385–388, 397].

Он связан и с реальными успехами российской исторической науки рубежа XX и XXI вв. вообще и деятельностью РГГУ и новыми веяниями в журнале “Российская история” в 2007–2012 гг. в частности. Он воплощает реально существующие и крайне значимые для мировой историографии тенденции к дистанцированию от крайностей релятивизма, проявляющиеся в проектах постпостмодернизма, нового рационализма, неоклассического и постнеклассического знания. Наконец, опора “когнитивной истории” на объективизм и сциентизм, ее нарочитое противопоставление влиянию идеологии и философских догм представляет собой мощное оружие, использование которого весьма соблазнительно в условиях наступающей политической реакции, идеологизации исторического знания, прежде всего в области отечественной истории.

Однако, обращаясь к тексту книги, читатель впадает в недоумение, которое тем больше, чем ближе ее содержание к сфере его собственных интересов. Это касается самых острых из затрагиваемых в ней тем: предлагаемой концепции эволюции исторических идей, соотношения взглядов Лаппо-Данилевского и Э. Гуссерля, возможности превращения истории в строгую и точную науку, трактовки авторами понятий глобальной истории и новой глобальной истории, лингвистического и антропологического поворотов, проблем исторической географии. Самым странным является то, что запрос “когнитивной истории” на междисциплинарность не сопровождается у авторов запросом *экспертизы* их идей специалистами других областей, прежде всего философами-феноменологами, специалистами по когнитологии, теории систем, теории научных революций, феноменологической социологии культуры, гуманитарной географии. Я думаю, что у таких специалистов текст книги вызвал бы определенный интерес и им было бы что сказать сторонникам “когнитивной истории”. В ожидании этого я попытаюсь сформулировать собственные недоумения (часто сформировавшиеся еще до чтения книги и никак не разрешенные с ее помощью) и в рамках возможностей историка постараюсь поставить проблемы, которые могут показаться значимыми специалистам по самым разным областям знания.

Проблемы эволюции научного знания

Опорой размышлений Медушевской о возможности построения исторического знания как строгого служит убеждение, что история исторической эпистемологии трехчленна, она включает эпохи господства трех парадигм: позитивистской (объективистской), неокантианской (субъективистской) и феноменологической [Медушевская 2013, с. 61]. Крайним проявлением релятивизма второй эпохи и ухода от науки в искусство историописания является постмодернизм. Однако остается непонятным, куда в этой схеме поместить немецкий историзм, релятивистская составляющая в котором зародилась еще в середине XVIII в. и в разной мере проявлялась в методах эвристики, критики, интерпретации, систематики и топики (изложения) (см. подробнее [Лаппо-Данилевский 2006, с. 31, 37; Ионов 2007, с. 174–175]). В то же время обвинения в релятивизме *в равной мере* затрагивают идиографическую традицию восприятия гуманитарного знания В. Дильтеем, В. Виндельбандом и Г. Риккертом (рубеж XIX–XX в.) и лингвистический поворот Х. Уайта, Л. Минка, А. Данто (1960-е гг.) [Медушевский 2013, с. 8; Медушевская 2013, с. 60].

Между тем на протяжении конца XIX–XX в. мы видим *неоднократную* смену тенденций к строгости и относительности исторического знания. Их можно связать со сменой *форм рациональности*, которые, как показал Н. Элиас, тесно зависят от процесса *цивилизации поведения*, последовательного ряда его фаз [Элиас 2001, с. 291–292, 308]. Следуя Элиасу, К. Вутерс продемонстрировал неоднократное колебание в XX в. между *информализацией* и *реформализацией* поведения (снятием и возвращением запретов). Он обозначил эпохи информализации как *Конец века* (1890-е гг.), *Ревущие 20-е* и *Революцию самовыражения* (1960–1970-е гг.) [Wouters 2007] (см. также [Ионов 2014]). Из этого следует, что три этапа релятивизации исторического знания времен в XX в. породили качественно разные явления, которые базируются на различных *типах рациональности*. Они были связаны с вторжением в истеблишмент разных общественных групп (декадентов, профсоюзных лидеров, феминисток, борцов с колониализмом), с их видением прошлого. Релятивизм и интерес к историческому нарративу у И. Дройзена (служащий основанием для сциентистского проекта универсальной истории Й. Рюзена), сходные явления у неокантианцев, К. Маннхейма, нарративистов совершенно разнородны. К тому же многие из них создавали, как Х. Уайт, научные парадигмы с прикрытыми иронией претензиями на истинность. Просто представления Уайта об истине переносились с нарратива на метанарратив.

Вывод: чтобы бороться с постмодернизмом, надо отвечать на вопросы, поставленные им самим. Традиция борьбы с неокантианством тут помочь не может.

Проблемы характеристики идей Лаппо-Данилевского

Самое слабое место “когнитивной истории” – довольно произвольное сближение Медушевской концепции Лаппо-Данилевского с феноменологией Гуссерля, основанное на цитате А. Преснякова, где понятие “феноменологический” выглядит скорее позитивистским по смыслу [Медушевская 2013, с. 380]. Особенно натянуто противопоставление Лаппо-Данилевского релятивизму Баденской школы. Медушевская и ее последователи утверждают, что Лаппо-Данилевский, на протяжении всей книги “Методология истории” ссылавшийся на Виндельбанда и Риккерта и лишь единожды упомянувший Гуссерля в связи с Дильтеем, нигде не употреблявший понятий феноменологической теории (и даже понятия “феномен” в соответствующем смысле), на деле – не неокантианец, а близок феноменологии. Причем речь не идет о родстве его идей, скажем, с мыслями Г. Зиммеля, о котором Лаппо-Данилевский писал и связь которого с феноменологией (в широком смысле) известна. Медушевскую привлек именно Гуссерль с его попыткой построить философию как “строгую науку” [Гуссерль 2000].

Однако Лаппо-Данилевский, признавая необходимость понимания истории как целого и возражая против релятивизма неокантианцев, весьма скептически выражается о возможности получения строгого знания о сознании человека прошлого на базе анализа материальных остатков. Он часто употреблял слово “догадка”, имея в виду не строгость, а правдоподобие знания. Источник – это прежде всего *основа для догадок*. “Историк, – пишет Лаппо-Данилевский, – ...непосредственно не знает, какую цель имел в виду тот, кто сделал данную вещь, как он ее делал и т.п., но *догадывается* о ее назначении” (курсив везде мой. – И.И.). “Историк уже не может непосредственно наблюдать игру культурных сил, а принужден о них *догадываться* только по кристаллизировавшемуся их результату или другим данным”. Тут стирается разница между изучением остатков и исторической памятью. Это относится и к тем моментам, где Лаппо-Данилевский прямо говорит о восприятии чужой субъективности, которое Медушевская считает основой строгого, феноменологического знания о прошлом. Лаппо-Данилевский изучает ее не с помощью феноменологии, а с помощью “*психологической интерпретации*”, дополненной научными процедурами (почти как Дильтей и вопреки Гуссерлю, который боролся с психологизаторством при помощи феноменолого-психологической редукции). “Историк... сам воспроизводит в себе и ту совокупность состояний своего сознания, в которой его представление о данном отрывке чужого сознания, по возможности, занимает положение, аналогичное с тем, какое соответствующее ему чужое представление должно было бы занимать в чужом сознании, породившем источник, – писал Лаппо-Данилевский. – Благодаря такому творчеству историк может придавать изучаемому им отрывку ту полноту его значения, которое, конечно, не сохранилось в источнике, а тем более в каких-либо его фрагментах; и только при последнем условии он может в полной мере использовать теоретические операции, рассмотренные выше; но он нуждается в их помощи и контроле, так как без них не может придать своим догадкам характер научных выводов” [Лаппо-Данилевский 2006, с. 308, 337, 339, 344–345].

Против такого подхода выступает Медушевский, определяя его как “конфликт интерпретаций” или “герменевтический круг” [Медушевский 2013, с. 26] и фактически разрывая тем самым преемственность с Лаппо-Данилевским. И это не случайно. Ведь методика Лаппо-Данилевского не предполагает холизма и бинарного, самого примитивного уровня мышления, на котором основан проект “когнитивной истории”; она диалогична, находится на пересечении психологической и теоретической перспектив, что сближает ее с более современными реляционистскими формами знания (например, с *перекрестной историей* [Вернер, Циммерманн 2007]). В центре когнитивного процесса историка два связанных аспекта: факт информационно-связи сознаний и его теоретическое осмысление.

Напротив, целесообразность и функциональность, которые у Медушевской сближены, разводятся Лаппо-Данилевским, заявляющим, что неразличение телеологических (целесообразная деятельность Медушевской как инвариант деятельности человека) и причинно-следственных (функциональных) связей неверно и представляет трудность исторического знания, а никак не его основу. Более того, он ополчается против сциентизма в его статистической форме, указывая, что “статистическое среднее – научная фикция” [Лаппо-Данилевский 2006, с. 135–136]. Этим он дистанцируется не только от поисков строгого исторического знания, но и от перспективы математически и статистически укорененной клиодинамики (П. Турчин, А. Коротаев, Л. Гринин, С. Малков) – наиболее продвинутой формы постсоветского исторического сциентизма, претендующей на познание законов истории [Коротаев, Комарова, Халтурина 2005].

Не случайно дискуссия о соотношении неокантианства и феноменологии у Лаппо-Данилевского продолжается до сих пор. Но ведет ее не Медушевский, в работах которого “когнитивная история” или ее аспекты нигде не рассматриваются критически, а все та же Румянцева, едва ли не в одиночку отстаивающая научную честь школы Медушевской. Правда, и ее доказательства трудно считать убедительными. В своей недавней статье по этой теме она скользит мыслью от феноменологии Гуссерля (без единой ссылки на него) к феноменологическому подходу вообще, а затем к эмпириокритицизму и заканчивает ссылкой на далеко не безупречную стратегию *epoché* (*epoché*) естественной установки (тоже без ссылки), предложенную А. Юргановым более 10 лет назад и подкрепленную ссылкой на саму Румянцеву [Юрганов 2003, с. 73; Ионов 2003, с. 90–95]. Мы попадаем в замкнутый круг интерпретаций, который, в сущности, держится на авторитетах и в течение десятилетия не обеспечивает приращения знания.

Самое странное в этой истории то, что стратегия редукции естественной установки, понятная в случае, если речь идет о феноменологии Гуссерля, никак не совпадает с тем, что Медушевская и Медушевский писали и пишут о *фоновом знании*. Под этим термином А. Шюц и его последователи имели в виду самую естественную установку, но не подвергающуюся феноменологической редукции, а ставшую центральным предметом исследования. Для Медушевской анализ фонового знания – *ключевой момент* в переходе от релятивизма к строгому знанию. “Выход из герменевтического круга, – пишет она, – возможен через соотнесение фонового знания с выраженным путем использования сравнимых категорий. Данный подход означает радикальную смену парадигм в современной теории познания – переход от ненаучных нарративистских (или наивно-герменевтических) приемов к когнитивным методам анализа информации, ориентированным на постижение смысла” [Медушевская 2010, с. 68]. Об этом же заявляет и Медушевский [Медушевский 2013, с. 26]. Правда, это уже не Гуссерль, а Шюц, имя которого нигде не упоминается в книге, ссылок на которого в ней нет. А это значит, что школа (или “парадигма”?) Медушевской дает трещину в центральной, самой важной ее части – главные ее защитники Медушевский и Румянцева не согласовали между собой, *какой именно вариант феноменологии они отстаивают – трансцендентальную феноменологию Гуссерля или конститутивную феноменологию естественной установки Шюца*. А это разные учения.

Как же обстоит дело со всеми остальными сложностями гуссерлевской феноменологии, в том числе с феноменолого-психологической, эйдетической и трансцендентальной редукцией? Как быть с принципиально априорным характером¹ феноменологии Гуссерля? Как быть с его принципиальным европоцентризмом, который Медушевская критикует везде, кроме его связи с Гуссерлем, сосредоточенном на “европейском человечестве” [Гуссерль 2000, с. 634–635]? Ответов на эти вопросы мы не получаем. Отсутствуют у Румянцевой и альтернативные версии интерпретаций идей

¹ Это обстоятельство подвигло меня изучать при помощи феноменологии предпосылочное знание в теории цивилизаций [Ионов 2007, с. 90–93].

Лаппо-Данилевского, в том числе перекрестные, такие как полилог немецкого историзма, неокантианства и позитивизма в варианте Н. Михайловского, который тоже объединял целостное восприятие мира и острое ощущение субъективности человека [Лаппо-Данилевский 2006, с. 160].

Однако сближение позиций Лаппо-Данилевского и позитивизма для Медушевской невозможно, так как ее представление о позитивизме включает в себя и марксизм, который *нельзя называть* (хотя этот запрет порой нарушает Медушевский [Медушевский 2013, с. 10]). Феноменологическая редукция для Медушевской – прежде всего *идеологическая* и *антикоммунистическая* редукция. Она устраняет из поля зрения образ силы, препятствовавшей развитию исторического знания в СССР. Переоценка этой силы приводит к тому, что разница между позитивизмом и марксизмом упускается, в марксизме игнорируется очень важная *критическая традиция*, которую О. Конт называл метафизической. Вопреки тому, что пишется в книге [Медушевская 2013, с. 62], в теории позитивизма Средневековье связано не с метафизикой, а с теологией; метафизический этап развития цивилизации – это революционная, критическая эпоха, которую должен был преодолеть позитивизм (см. [Ионов 2007, с. 216]).

Так что трудно не согласиться с проговоркой Румянцевой о «непреодолимом желании “правильно” классифицировать теоретико-познавательную концепцию А.С. Лаппо-Данилевского» [Румянцева 2014, с. 7]. Так оно, по-видимому, и есть.

Проблемы феноменологии

Но оставим в стороне Гуссерля. Возможно ли вообще основать социальное знание на феноменологической основе? И тут мы возвращаемся к теме фонового знания Шюца, создавшего *феноменологическую социологию*. Шюц местами действительно близко подходит к трактовкам Медушевской, в частности в статье “О множественности реальностей” (1945). Для Медушевской принципиально важно, что источник – не только зафиксированная речь, которую надо подвергнуть интерпретации, но и сделанная человеком *материальная вещь*. Для нее важна онтологичность, “телесность вещи”, созданной человеком в результате озарения, порожденной целесообразной деятельностью и содержащей информацию о “сущности” культуры. Медушевская абсолютизирует противопоставление языка как мимолетной формы передачи информации и вещи, продукта труда, который “функционирует в обществе, оставаясь в нем навсегда”. В этом фантастическом мире рукописи действительно “не горят”, а определенную информацию можно “актуализировать теперь и всегда”. Людми движет “информационный магнетизм”, “жадное разглядывание вещей”, стремление получить скрытое в них знание и воспроизвести его [Медушевская 2013, с. 399, 415, 422–429, 433–434]. Этот “вещизм”, возможно, связан с феноменом советского дефицита и полупериферийным положением экономики и культуры СССР в мире. Представители центров цивилизаций вещи “варваров” обычно безжалостно жгли и уничтожали (как конкистадоры в Южной Америке).

Шюц тоже проявляет интерес к целесообразной деятельности и к сфере *рабочих операций*. Он различал (“скрытые”) акты исполнения простого думания от (открытых) актов исполнения, нуждающихся в телодвижениях”. Именно последние – главный источник его социологии. “Рабочая операция... является действием во внешнем мире, основанным на проекте и характеризующимся намерением вызвать спроектированное положение дел посредством телодвижений”. Эти операции создают пространство и время истории: “...бодрствующее Я интегрирует в своих рабочих операциях и при помощи своих рабочих операций свое настоящее, прошлое и будущее в специфическое измерение времени; оно осознает себя как тотальность в своих рабочих актах; оно коммуницирует с другими посредством рабочих актов; оно организует различные пространственные перспективы мира повседневной жизни при помощи рабочих актов”. Вокруг этих актов вращается мир культуры. “Мир рабочих операций как целостность выступает верховным по отношению ко множеству других субуниверсумов реально-

сти” – отмечал философ, связывая его характерные черты: бодрствующее сознание, высший интерес к реальности и целесообразность поведения, наиболее ярко проявляющиеся в этом случае, с *инстинктом самосохранения*. Рабочие операции, как он думал, первичны и по отношению к коммуникации: “Социальные действия предполагают коммуникацию, а любая коммуникация обязательно опирается на акты рабочих операций”, – писал он [Шюц 2003, с. 6–8, 10–11].

Однако в целом эта работа плохо укладывается в рамки “строгой науки”. Продолжая провозглашать этот гуссерлевский принцип, Шюц дополнил феноменологию элементами американского прагматизма, явившегося одной из основ постмодернизма Р. Рорти. В этой статье Шюц (как и Лаппо-Данилевский ранее) как бы приобретает два лица: одно направлено на Гуссерля, другое – на У. Джеймса, автора книги “Воля к вере” (1897). Одной из его задач становится борьба с функционализмом бихевиоризма, который склонен примитивизировать детерминации поведения человека. Прагматизм этих действий, по мнению философа, связан не только с их целесообразностью. Смысл – не то, что рождается в деятельности и раскрывается при общении историка с результатом труда (как думала Медушевская). По мнению Шюца, смысл возможен только ретроспективно, а деятельность не всегда целесообразна [Шюц 2003, с. 3–6, 10–12, 15, 16]. Это делает его наследником М. Вебера, различавшего целерациональную, ценностно-рациональную, традиционную и аффективную деятельность.

В зону внимания Шюца попадает “бесконечное число различных планов” существования человека в диапазоне от плана действий до плана сновидений, связанных с разной степенью “отвращения к жизни”. При этом кажимость не отделена от деятельности: при помощи особой феноменологической операции человек может “выключать веру во все большее число пластов реальности повседневной жизни” и “выключать сомнение в том, что мир и его объекты могут быть такими, как это ему кажется”. Шюц называл это бытовым “*epoché* естественной установки”. Размышления о нереальном оцениваются им на основе представлений Джеймса о предрасположенности людей принимать на веру суждения, пока они не вошли в противоречие с другими суждениями, также принимаемыми на веру (так были сформулированы не только идея фонового знания, но и идея парадигмы как нормативного предпосылочного знания, имеющего метафизическую основу, развитая затем Т. Куном), их способности выбирать, какого способа мышления придерживаться, а какой отвергнуть. При этом “ощущение реальности” может анализироваться в понятиях *веры* и *неверия*. В этом контексте Шюц оказывается способен “ставить акцент реальности” на самых разных “конечных областях смысла”, причем, по его мнению и в отличие от позиции Медушевской, “именно смысл нашего опыта, а не онтологическая структура объектов конституирует реальность”. Все это противопоставляет “миру рабочих операций” не только миры грез и фантазий, но “особенно мир искусства, мир религиозного опыта, мир научного созерцания”. В них создаются “неповторимые когнитивные стили”, замкнутые и конечные области переживаний, несовместимые друг с другом, так что из одной области переживания образ другой кажется “надуманным, непоследовательным и несовместимым”. Переход из одной конечной области в другую возможен, но связан со скачком, шоком, введением особой “формулы трансформации” [Шюц 2003, с. 6, 16–19].

В результате строгость знания стала рассматриваться не только как следствие его логической непогрешимости, но и как совместимость идеально-типических конструкций теории и *обыденных интерпретаций современников* (основы интерсубъективности). Описательность, интерпретация и герменевтика, с которыми боролась Медушевская, тем самым восстановили свои права. Правда, Шюц пытался решить проблему “взаимодополнительности перспектив” на основе допущения о “конгруэнтности релевантностей”, при котором все вовлеченные в ситуацию люди *должны* понимать друг друга [Керимов]. Но такое допущение было весьма шатким. Проблема была снята лишь в рамках феноменологической герменевтики П. Рикера, в которой *имплицитные* два лица Шюца превращаются в *эксплицитные* два лица. Это зародыш перекрестного исторического исследования: в ней вступают во взаимодействие фено-

менологические и герменевтические традиции и приемы. Феноменология становится совместимой с интересом к лингвистическому повороту и использованию метафор. Она поворачивается от синтеза к диалогу. Она уже не видит *цельности цели* создателя источника – предпосылку всей феноменологии Медушевской. “Двойственность авторской позиции? – вопрошает Рикер. – Но разве ее не следует, скорее, сохранять, чем разрушать?” [Рикер 2008, с. 196]. И в этом контексте конфликт интерпретаций, который не принимает “когнитивная история”, выглядит не угрозой строгости знания, а путем к его *полноте*.

Кстати, такой перекрестный, диалогический подход к источнику был очень близок другу Лаппо-Данилевского Вернадскому. Он писал в письме 1917 г., что читает Библию, рассматривая ее “с непримиримых точек зрения”, и чувствует при этом “целое и единое”. “Мне стало казаться, – продолжал он, – что один и тот же человек об одном и том же в одно и то же время может мыслить разное и несводимое в одно и чувствовать единое” [Страницы... 1981, с. 287].

Проблема рассогласования дисциплинарных перспектив

В своих работах Медушевская вслед за Лаппо-Данилевским старается стереть границы между источниковедческим и теоретическим, конкретно-историческим и макроисторическим подходами и даже свою теорию источниковедческой методологии истории выстраивает дедуктивно, как К. Маркс, исходя из “клеточки” целесообразной человеческой деятельности [Медушевская 2013, с. 345–403]. Она даже пыталась выйти на диалог с другими когнитивными подходами [Медушевская 2010]. Однако идея междисциплинарного синтеза, которая лежала в основе проекта “когнитивной истории”, оказалась нереализуемой среди всего прочего потому, что развитие смежных дисциплин пошло совсем не в том сциентистском направлении к строгому знанию, как предписывал совет.

В значительной степени это связано с недооценкой марксизма, его *критической истоси*, которая породила представления о культурной гегемонии, плюральных обществах, двойном (зависимом) сознании и дала импульс вобравшей все наследие постмодернизма *постколониальной критике*, взорвавшей ту глобальную историю, истоки которой Медушевская видела в работах Лаппо-Данилевского [Медушевская 2013, с. 381]. Новая глобальная история – это не только следствие “кризиса традиционной методологии”, но и результат процесса деколонизации. Она была рождена не Л. Февром, а взаимодействием европоцентристов и постколониальных ученых в 1990-е гг. (подробнее см. [Ионов 2011 с. 140–142; Ионов 2012, с. 137, 141–143; Ионов 2013, с. 148–150; Ионов 2014, с. 158–161]). Идея материальной цивилизации Ф. Броделя, которую Медушевская старалась развить (не называя автора), оказалась мало-востребованной, как и его неразличение глобальной (в пространстве) и тотальной (по охвату) истории [Медушевский 2013, с. 9; Медушевская 2013, с. 56, 63, 70]. Для современной глобальной истории характерно понимание ограниченности любого сколь угодно строгого исторического знания в условиях сложных многокультурных сообществ, где возможны по крайней мере две истины по поводу одного и того же исторического явления, где предосудительна каждая из типологий, где невозможен выбор одной оптимальной позиции для сравнительного исследования, где для углубления знания требуется процедура поэтапного вовлечения в дело разных культурных и профессиональных компетенций историка и многослойное описание ситуации в стиле К. Гирца [Conceptualizing... 1993].

Соответствующим образом изменилась социология, которая приобрела когнитивный и феноменологический характер, но не приблизилась к идеалу “когнитивной истории”, а удалилась от него. Внимание когнитивной микросоциологии сосредоточилось, например, на созидании людьми общественных форм и институтов как продуктов дискурса. Это, казалось бы, очень близко к тому, что писала Медушевская [Медушевская 2013, с. 413], но человеческое сознание здесь опредмечено прежде всего не

в вечных материальных остатках, а в неуловимой речевой деятельности (мир опыта конструируется тем, как о нем говорят). Деятельность людей состоит прежде всего в категоризации, интерпретации и других дискурсивных практиках. Социальный порядок, тем самым, есть продукт когнитивного порядка – объяснения и описания общественных отношений, которые реализуются непредсказуемым (*contingent*) образом, что затрудняет их “строгое” описание [Ионин 2004].

Наконец, наибольший прорыв в сторону когнитивного знания произошел в географии вообще и исторической географии в частности. Теперь ее подчас просто включают в состав когнитологии. Она стала почти таким же образом, каким была для эпохи структурализма структурная лингвистика. Но это уже не та историческая география, о которой писала и которую могла вообразить себе Медушевская (об утрате связи с традициями ее эпохи говорит и неоднократное искажение в тексте книги фамилии классика географического POSSИБИЛИЗМА П. Видаля де ла Блаша [Медушевская 2013, с. 74, 76, 79]). Это *воображаемая география (имагология)*, прочно опирающаяся на наследие постмодернизма. Она анализирует множественность практик, при помощи которых человек конструирует пространство [Замятин 2015, с. 151–152]. Применительно к работам Медушевской 1940–1950-х гг. она поставила бы вопрос об их связи с ролью России как периферийной империи на вторых ролях. Дело не только в том, что Дж. Кук переименовал открытые русскими северные земли, а П. Паллас выстраивал свои представления о мире на основе данных англичанина В. Кокса, но и в том, что сами русские, в рамках той же колониальной иерархии, переименовали земли, давно известные местным народам [Медушевская 2013, с. 88, 118–119, 243, 247, 255]. Каждая из этих групп творила в рамках своего мира, карты этих миров могли совпадать в контурах, но не в смыслах. Анализу взглядов Кокса и более общих вопросов имагологии посвящена классическая книга по воображаемой географии Л. Вульфа, которая могла бы стать фоном для характеристики работ Медушевской [Вульф 2003]. Но Медушевский, хоть и продвигал имагологию, будучи редактором журнала, в предисловии к обсуждаемой книге Медушевской этого вопроса не коснулся.

* * *

Мне представляется, что проект “когнитивной истории” – это основанный на абсолютизации возможностей источниковедения пример апофатического нормативистского знания, опирающегося не на ту или иную теорию (цитаты часто служат лишь для прикрытия), а конструируемого прежде всего как противопоставление марксизму. Он носит отпечаток той эпохи, когда казалось, что стоит преодолеть советское наследие – и историческая истина откроется сама. Из лучших либеральных побуждений масса ученых созидают научную школу, построенную на авторитете и рассчитанную на стандарты суггестивных реакций личности, которую Э. Фромм назвал авторитарной (см. подробнее [Ионов 2014, с. 158]), не способной осознать ценность смены познавательных перспектив. Представляясь средством борьбы против реакции в историческом знании, эта школа на деле – одна из форм проявления антидемократической реакции периода реформализации поведения и связанных с ним разновидностей исторической рациональности. Она гораздо глубже укоренена в позитивизме, чем стараются уверить.

Тем не менее традиция взаимопересечения исследовательских перспектив у Лаппо-Данилевского и Шюца, а также некоторые другие моменты, отмеченные у Медушевской и Медушевского, – осознание ценности диалога, потребность изучения Иного, стремление стереть границы дописьменного и письменного периодов мировой истории, понимание дискретности процессов сознания, внимание к роли памяти, интерес к имагологии – позволяют встроить “когнитивную историю” как одну из познавательных перспектив в процедурный ряд процесса изучения прошлого. Надо еще раз подумать над мыслями О. Медушевской, что в “новой социальной реальности... рушатся старые стереотипы общественного сознания”, языковая среда “становится более

неопределенной, гибкой, предрасположенной к конфликтным интерпретациям”, что по мере роста междисциплинарности “мера неопределенности понятийного языка... возрастает”, и понять, как эти явления сочетаются с идеалом диалогизма в историческом сознании [Медушевская 2013, с. 55, 60, 82]. Условия этого – преодоление бинаризма в постановке проблем (наука или искусство, интерпретация или понимание, описательность или поиск закономерностей, понятия или метафоры) [Медушевский 2013, с. 29, 34] и реанимация диалогических установок работ Медушевской 1990-х гг., выработанных под давлением школы А. Гуревича [Медушевская 2013, с. 55–56].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Вернер М., Циммерманн Б. (2007) После компаратива: *histoire croisée* и вызов рефлексивности // *Ab Imperio*. № 2. С. 59–90.
- Вульф Л. (2003) Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: Новое литературное обозрение.
- Гуссерль Э. (2000) Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского человечества и философии. Философия как строгая наука. Минск.: Харвест, М.: АСТ.
- Замятин Д.Н. (2015) В поисках удаляющихся пространств: историческая география и онтологические модели воображения // *Общественные науки и современность*. № 1.
- Ионин Л.Г. (2004) Социология культуры. Учебное пособие для вузов. М.: Изд. ГУ–ВШЭ.
- Ионов И.Н. (2011) Глобальная история и изучение прошлого России // *Общественные науки и современность*. № 5. С. 139–153.
- Ионов И.Н. (2012) Глобальная история и изучение прошлого России. Статья 2 // *Общественные науки и современность*. № 6. С. 134–149.
- Ионов И.Н. (2013) Глобальная история и изучение прошлого России. Статья 3 // *Общественные науки и современность*. № 5. С. 138–153.
- Ионов И.Н. (2014) Глобальная история и изучение прошлого России. Статья 4 // *Общественные науки и современность*. № 6. С. 123–140.
- Ионов И.Н. (2003) Источниковедение культуры (дискуссия) // *Россия XXI*. № 4. Июль–август. С. 90–95.
- Ионов И.Н. (2007) Цивилизационное сознание и историческое знание: проблемы взаимодействия. М.: Наука.
- Керимов Т.Х. Феноменологическая социология (<http://terme.ru/dictionary/183/word/fenomenologicheskaja-sociologija>).
- Коротаев А.В., Комарова Н.Л., Халтурина Д.А. (2005) Законы истории. Вековые циклы, тысячелетние тренды. Демография, экономика, войны. М.: URSS.
- Лаппо-Данилевский А.С. (2006) Методология истории. М.: Издательский дом “Территория будущего”.
- Медушевская О.М. (2010) Когнитивно-информационная теория в социологии истории и антропологии // *Социологические исследования*. № 11. С. 63–73.
- Медушевская О.М. (2013) Пространство и время в науках о человеке: Избранные труды. М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив.
- Медушевский А.Н. (2012) Мои бои за историю. Как я был главным редактором журнала “Российская история” // *Вестник Европы*. № 33. С. 147–158.
- Медушевский А.Н. (2013) Ольга Михайловна Медушевская: интеллектуальный портрет // Медушевская О.М. Пространство и время в науках о человеке: Избранные труды. М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив. С. 7–48.
- Миц С.С. (2013) Источниковедение эпохи Постмодерна. Приметы новой парадигмы // *Диалог со временем*. Вып. 44. С. 69–78.
- Миронов Б.Н. (2011) Новая апология истории (размышления над книгой О. Медушевской) // *Общественные науки и современность*. № 1. С. 139–148.
- Репина Л.П. (2011) Историческая наука на рубеже XX–XXI вв. Социальные теории и историографическая практика. М.: Круг.
- Рикер П. (2008) Я-сам как другой. М.: Издательство гуманитарной литературы.
- Румянцева М.Ф. (2013) Концепция когнитивной истории Ольги Михайловны Медушевской: приглашение к дискуссии // *Диалог со временем*. Вып. 44. С. 6–15.
- Румянцева М.Ф. (2014) Феноменология vs неокантианство в концепции А.С. Лаппо-Данилевского // *Диалог со временем*. Вып. 46. С. 7–16.
- Страницы автобиографии В.И. Вернадского (1981). Составитель Н.В. Филиппова. М.: Наука.

Шюц А. (2003) О множественности реальностей // Социологическое обозрение. Т. 3. № 2. С. 3–34.

Элиас Н. (2001) О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. В 2 т. Т. 2. Изменения в обществе. Проект теории цивилизации. М., СПб.: Университетская книга.

Юрганов А.И. (2003) Источниковедение культуры в контексте развития исторической науки (окончание) // Россия XXI. № 4. Июль–август. С. 64–85.

Conceptualizing Global History (1993) Ed. Mazlish B., Buultijens R. Boulder: Westview Press.

Wouters C. (2007) Informalisation: Manners and Emotions since 1890. London: Sage Publications.

Project of “cognitive history”: archeology and ecology of ideas (Reflections over the new publication of works of O. Medushevskaya)

I. IONOV*

* **Ionov Igor** – candidate of historical sciences, senior research associate. Institute of World History of the Russian Academy of Sciences. Address: 32a, Lenin av., Moscow, 119334, Russian Federation. E-mail: cih@igh.ras.ru.

Abstract

In article the project of cognitive history of O. Medushevskaya and A. Medushevsky who is treated by his founders as a new paradigm of historical knowledge is analyzed. The periodizations of historical paradigms, a ratio of ideas of A. Lappo-Danilevsky and E. Husserl’s phenomenology, possibility of phenomenological treatment of history, a ratio of cognitive history and related scientific disciplines offered by them are critically considered.

Keywords: cognitive history, global history, historical source study, methodology of history, epistemology, phenomenology, paradigm.

REFERENCES

Conceptualizing Global History (1993). Ed. Mazlish B., Buultijens R. Boulder: Westview Press.

Elias N. (2001) *O processe civilizacii. Sociogeneticheskie i psixogeneticheskie issledovaniya. V 2 t. T. 2. Izmeneniya v obwestve. Proekt teorii civilizacii* [Elias N. (1982) *The Civilizing Process, Vol. II. State Formation and Civilization*]. Moscow–St. Petersburg: Universitetskaya kniga.

Husserl’ E’. (2000) *Logicheskie issledovaniya. Kartezianskiye razmyshleniya. Krizis evropejskix nauk i transcendental’naya fenomenologiya. Krizis evropejskogo chelovechestva i filosofii. Filosofiya kak strogaya nauka* [Logical Researches. Cartesian Reflections. Crisis of the European Sciences and Transcendental Phenomenology. Crisis of the European Mankind and Philosophy. Philosophy as Strict Science]. Minsk: Xarvest; Moscow: ACT.

Ionin L.G. (2004) *Sociologiya kul’tury* [Culture Sociology]. Uchebnoe posobie dlya vuzov. Moscow: HSE.

Ionov I.N. (2007) *Civilizacionnoye soznanie i istoricheskoye znaniye: problemy vzaimodeystviya* [Civilization Consciousness and Historical Knowledge: Interaction Problems]. Moscow: Nauka.

Ionov I.N. (2011) *Global’naya istoriya i izuchenie proshlogo Rossii* [Global History and Studying of the Past of Russia. Part 1]. *Obshchestvennyye nauki i sovremennost’*, no. 5, pp. 139–153.

Ionov I.N. (2012) *Global’naya istoriya i izuchenie proshlogo Rossii* [Global History and Studying of the Past of Russia. Part 2]. *Obshchestvennyye nauki i sovremennost’*, no. 6, pp. 134–149.

Article is prepared with assistance of the Russian Foundation for Fundamental Researches (project no. 13-06-00301a).

- Ionov I.N. (2013) Global'naya istoriya i izuchenie proshlogo Rossii [Global History and Studying of the Past of Russia. Part 3]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost'*, no. 5, pp. 138–153.
- Ionov I.N. (2014) Global'naya istoriya i izuchenie proshlogo Rossii [Global History and Studying of the Past of Russia. Part 4]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost'*, no. 6, pp. 123–140.
- Ionov I.N. (2003) Istochnikovedenie kul'tury (diskussiya) [Source Study of Culture (Discussion)]. *Rossiya XXI*, no. 4. Iyul'–avgust, pp. 90–95.
- Kerimov T.X. *Fenomenologicheskaya sociologiya* [Phenomenological Sociology] (<http://terme.ru/dictionary/183/word/fenomenologicheskaja-sociologija>).
- Korotaev A.V., Komarova N.L., Xalturina D.A. (2005) *Zakony istorii. Vekovye cikly tysyacheletnie trendy. Demografiya, e'konomika, vojny* [Laws of history. Century cycles thousand-year trends. Demography, economy, wars]. Izd. vtoroje, ispravlennoe i dopolnennoe, Moscow: URSS.
- Lappo-Danilevskij A.S. (2006) *Metodologiya istorii* [Historical Methodology]. Moscow: Izdatel'skij dom "Territoriya budushego".
- Medushevskaya O.M. (2010) Kognitivno-informacionnaya teoriya v sociologii istorii i antropologii [Cognitive and Information Theory in Sociology of History and Anthropology]. *Sociologicheskie issledovaniya*, no. 11, pp. 63–73.
- Medushevskaya O.M. (2013) *Prostranstvo i vremya v naukax o cheloveke: Izbrannye trudy* [Space and Time in Sciences about the Humans: Chosen works]. Moscow–St. Petersburg: Centr gumanitarnyx iniciativ.
- Medushevskij A.N. (2012) Moi boi za istoriyu. Kak ya byl glavnym redaktorom zhurnala "Rossijskaya istoriya" [My Combats pour l'Histoire. As I was the Editor-in-chief of the Russian History magazine]. *Vestnik Evropy*, no. 33, pp. 147–158.
- Medushevskij A.N. (2013) Ol'ga Mixajlovna Medushevskaya: intellektual'nyj portret [Olga Mikhaelovna Medushevskaya: an Intellectual Portrait]. Medushevskaya. O.M. *Prostranstvo i vremya v naukax o cheloveke: Izbrannye trudy* [Space and Time in Sciences about the Humans: Chosen works]. Moscow–Sankt-Petersburg: Centr gumanitarnyx iniciativ, pp. 7–48.
- Minc S.S. (2013) Istochnikovedenie e'poxi Postmoderna. Primety novoj paradigmy [Postmodern Era Source Study. Signs of a New Paradigm]. *Dialog so vremenem*, vyp. 44, pp. 69–78.
- Mironov B.N. (2011) Novaya apologiya istoriya (razmyshleniya nad knigoj O. Medushevskoj) [New Apologie pour l'Histoire (Reflections over O. Medushevskaya's Book)]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost'*, no. 1, pp. 139–148.
- Repina L.P. (2011) *Istoricheskaya nauka na rubezhe XX–XXI vv. Social'nye teorii i istoriograficheskaya praktika* [Historical Science at a Boundary of the XX–XXI Centuries. Social Theories and Historiographic Practice]. Moscow: Krug.
- Ricoeur P. (2008) *Ya-sam kak drugoj* [Ricoeur P. (1990) Soi-même comme un autre]. Moscow: Izdatel'stvo gumanitarnoj literatury.
- Rumyanцева M.F. (2014) Fenomenologiya vs neokantianstvo v koncepcii A.S. Lappo-Danilevskogo [Phenomenology vs a Neo-Kantianism in A.S. Lappo-Danilevsky's Concept]. *Dialog so vremenem*, vyp. 46, pp. 7–16.
- Rumyanцева M.F. (2013) Konceptiya kognitivnoj istorii Ol'gi Mixajlovny Medushevskoj: priglasenie k diskussii [Concept of Cognitive History of Olga Mikhaelovna Medushevskaya: the Invitation to Discussion]. *Dialog so vremenem*, vyp. 44, pp. 6–15.
- Schütz A. (2003) O mnozhestvennosti real'nostej [Schütz A. (1945) On Multiple Realities]. *Sociologicheskoe obozrenie*, vol. 3, no. 2, pp. 3–34.
- Stranicy avtobiografii V.I. Vernadskogo* [Pages of the Autobiography of V.I. Vernadsky] (1981). Ed. by N.V. Filippova. Moscow: Nauka.
- Werner M., Zimmermann B. (2007) Posle komparativa: histoire croisée i vyzov reflektivnosti [Beyond Comparison: Histoire Croisée and the Challenge of Reflexivity]. *Ab Imperio*, no. 2, pp. 59–90.
- Wouters C. (2007) *Informalisation: Manners and Emotions since 1890*. London: Sage Publications.
- Wolff L. (2003) *Izobretaya Vostochnuyu Evropu: Karta civilizacii v soznanii e'poxi Prosveweniya* [Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Yurganov A.I. (2003) Istochnikovedenie kul'tury v kontekste razvitiya istoricheskoy nauki (okonchanie) [Culture Source Study in the Context of Development of Historical Science (termination)]. *Rossiya XXI*, no. 4, pp. 64–85.
- Zamyatin D.N. (2015) V poiskax udalyayuchixsya prostranstv: istoricheskaya geografiya i ontologicheskie modeli voobrazheniya [In Search of the Removed Spaces: Historical Geography and Ontologic Models of Imagination]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost'*, no. 1, pp. 148–176.